



— Господин Бежар, десять лет назад журнал "Ла сезон де ла данс" назвал вас единственным авангардистом Европы. Десять лет не Бог весть какой срок для искусства, тем не менее теперь, по моему, редкого начинающего балетного деятеля не назовут авангардистом. Тот же "Ла сезон де ла данс" в этом активно преуспевает.

— Да, спорить трудно. Современный балет приобрел космические масштабы. Но я с большой осторожностью отношусь к этому броскому определению — авангард. Иногда в него, как в мусорный контейнер, сбрасывают все подряд. То, чему место в цирке, то, чему место на помойке, то, чему вообще нигде нет никакого места. Потом, простите, но "Ла сезон де ла данс" назвал меня не единственным авангардистом вообще, а единственным приличным авангардистом! Есть разница. Хотя, конечно, сейчас все труднее и труднее чувствовать себя уникальной личностью.

— Вас это раздражает?

— Я умею упиливаться искусством. Так что меня вовсе не огорчает мажорный расцвет балетного авангарда. Есть у меня на этот счет консервативная, добрая установка: время все расставит по своим местам. А вообще я не из тех художников, мастеров, прибавил бы творцов, сходящих с ума от радости, когда кто-то пытается превзойти их! Можно опускаться до снисходительного отношения. Но сыпать восторгами по этому поводу — то же, что толкать свою жену в объятия другого. Не менее, может быть, талантливо, красивого.

— По-моему, странное сравнение: ведь ваш конкурент в искусстве, талантливый и красивый, занимается своим делом: он никого у вас не уводит, не переходит вам дорогу, не отбирает кусок хлеба, он не ворует, иными словами, ваши постановки, рядя их в свои одежды — просто делает похожее дело! Занимается тем же ремеслом.

— Искусство — материя бесконечная. Под ее сенью могут укрыться многие. Да и лозунг — свобода, равенство, братство — наша фантазия. Французская. Но, когда ты владеешь по распоряжению или даже по иронии судьбы огромным куском этого искусства, желание делиться пропадает вместе с желанием быть кому-то равным. Слишком сверкает это сокровище! Настоящий художник алчен! Тщеславен и ненасытен. Думаю, религия не случайно относится к искусству настороженно, ибо оно — удел жадных. Творец с охотой отдаст последнюю рубашку и подставит под оплеуху вторую щеку, но делиться искусством с ближним и возлюбить его в искусстве, как самого себя... Увольте. Иногда поэтому мне кажется, что искусство не благо, а наказание.

— Алчность не помеха в работе?

— Наоборот. Алчность совершает невозможное. Алчность двигает горы!

— Значит, вы один из немногих, тех, кто способен оправдать Сальери, отравившего гения? Если верить великим сплетням.

— Нет! (Смеется.) Нет! Я полагаю, что Сальери — не более, чем знаменитый композитор, коих в мире было и будет столько, что у человечества не хватит пальцев на руках. Может, это прозвучит грубовато: но одним Сальери меньше, одним больше. Если бы его партитуры не сохранились, мир бы не перевернулся и даже не обеднел бы! Но вот Моцарт! Нет, я не стану сочувствовать Сальери в том, что он отправил на тот свет гения. Может, он вообще не тот свет гения. Может, он вообще не тот и не отравлял: история — вещь лживая. Но пример для рассуждения хороший. Впрочем, если бы Сальери был равным Моцарту...

— Вы бы его оправдали?

— Может быть. Тем более, что в этом случае неизвестно, как повел бы себя сам Моцарт по отношению к себе равному.

— Вы, следовательно, полагаете, что тоже при желании могли убить соперника?

— Нет! Не таким способом. Я уже оговорился: у меня не кружится голова от чужого успеха, но я и не подстерегаю соперника в темноте переулочка, прикрывая пурпуром плаща блестящий клинок.

70 лет исполняется 2 января тому, кто долгие годы считался в балете личностью, символизирующей безумие. Его называли по-разному. Кто-то, потрясенный, восклицал: "Вот огонь, раздвинувший решетку камина". Кто-то, безнадежно разводя руками, сетовал на разнужные нравы, заставившие скинуть с танца роскошные пуританские одежды и выставить его напоказ, делая из тайного и желанного грубое, похотливое и доступное. Французский авангард — огромное яблоко раздора от Мориса Бежара, брошенное в толпу балетоманов-эстетов, — из года в год обрстал славой и скандальностью. И как-то вдруг неожиданно оказался на самом пике вершины, названной громко — мировой балет. В первый раз я увидела его, когда мне было четырнадцать лет: в утро генеральной репетиции "Весны священной". Он был строг и недоволен. Прошел мимо меня, сидящей прямо на паркете перед входом в грим-уборную своего друга — его ученика, танцора Даниэля Лорье. И я, почти пригнувшись от неожиданности к полу, сумела на мгновение рассмотреть грозный профиль, в создании которого участвовал сам Мефистофель. А вечером во время спектакля он сидел в ложе, в красном плаще до пят, и грозный его профиль в оранжеватом освещении зала смягчался, уподобившись тончайшему флорентийскому контуру. Причудливо-парадоксальная природа меняла лики. Интервью его накануне юбилея дорогого стоит: французские коллеги помогли корреспонденту "ЭС" связаться по телефону с великим мэтром. Далее эпитеты становятся лишними, а комментарии ведут к многословности. Потому что далее — перед нами сам Морис Бежар.

Морис БЕЖАР:

“Балет — искусство без вдохновения”

тятий клинок.

— Значит, с вашей точки зрения, явление гения в мир — это вовсе не то, что мы привыкли представлять: образ величественного, странноватого человека с безумным взглядом.

— Безумный взгляд, конечно, у всех гениев. А вот остальное. Вспомните Федерико Феллини, милого Феллини с его полудетскими, полубредовыми фантазиями. С его круглым, спрятанным под пушок свитера животиком. С вечно пестрым шарфом, навязанным и повязанным Мазини! При этом он постоянно простуживался. Достаточно ему было очутиться в месте, где температура воздуха опускалась на пару градусов ниже температуры в Римини в середине мая месяца. Во всяком случае в Париже я ни разу не встречал его без огромного носового платка. Хотя Париж не самая глухая тундра! Вечерами с ним невозможно было гулять по городу. Он останавливался возле каждого бара и требовал немедленно туда войти и выпить горяченького глинтвейна, чтобы не свалиться в скоропостижном гриппе. Как-то я предложил ему просто отправиться вечером в ресторан, потягивать глинтвейн или коньячек и болтать. А он мне на это возмущенно заявил: "Пить весь вечер в одном месте? Что я, алкоголик!" И самое смешное, что Джульетта охотно верила в то, что драгоценный Федерико, возвращающийся в гостиницу под утро, в состоянии новичка, пережившего первую в жизни качку, весь вечер мужественно отбивался от простуды. Полагаю, что, если бы Федерико сказал, что это молоко довело его до такой кондиции, она бы с охотой в это поверила. Парочка была совершенно безумная! Они как будто бы договорились между собой, что никогда не сойдут на сушу со своего голубого корабля розовой мечты!

— Как же ладили между собой два гения — Бежар и Феллини?

— Хороший вопрос: я не знаю, как мы делили друг с другом пространство искусства. Как-то нахально пополам. Во всяком случае многие взгляды и принципы у нас полностью совпадали. Например, мы считали, что балет — это чистая арифметика, что, впрочем, и так ясно. Не надо, наверное, объяснять: балет — никакое не вдохновение, павшее на голову безумца. Это сложная, трудоемкая система расчета. Сотворение одного пластического элемента происходит путем отброса и отсеивания тысячи других. На шрифтовку одного пластического рисунка может уйти вечность. Особенно, когда балетмейстер проводит собственную авторскую линию рисунка. Особенно, если этот рисунок, этот жест, этот танец никем никогда не придуман. Если это новый балет!

— Вдохновение получается как бы и ни при чем?! Лишняя вещь!

— Нет, конечно, оно осеняет, намечает контуры, силуэт действия. Но мастерство проявляется в умении, а не в шлифовке. В умении точно просчитать, не полагаясь ни на удачу, ни на экспромт. В балете вообще почти не бывает экспромтов и редки везения! А лишнее вдохновение, вдохновение в избытке уводит от реальности.



— Что же такое вдохновение?

— У меня — желание работать.

— А что такое реальность?

— Пустая сцена и танцовщица, с которой на этой конкретной сцене надо что-то делать. Вдохновение призвано помогать реальности, а не противоречить. Потому я с сочувствием и с недоверием отношусь к молодым балетмейстерам. Они два эти понятия путают с третьим — иллюзией.

— Вы не станете отрицать, что у молодых больше сил, в том числе и физических, больше свежих идей, может, даже больше желания работать?

— Идеи, повторяю, это не балет. Это только лишь идеи. Снова приведу пример из мира плотского: мечты о любимой женщине и обладание любимой женщиной — вещи не просто разные, но и редко совпадающие. Идея в балете сама по себе ничего не стоит. И для ее воплощения одних сил, одного задора недостаточно. Я не верю в то, что молодой балетмейстер может за пять-шесть лет достигнуть мировой известности, не говоря уже о том, что понятие "мировая известность" тоже часто сродни иллюзии. Мир способен завестись на миг, а по его окончании забросать кумира отборными камнями.

— С вами так было?

— И со мной так было: мир ахнул, увидев "Весну священную", а затем, пошушукнувшись по углам, назвал меня извращенцем. Да и сам я так делал.

— Вы с такой легкостью, почти с удовольствием рассказываете о своих ошибках. Это тоже свойство мэтра? Мэтр может себе подобное позволить?!

— Нет, просто не хочу, чтобы меня канонизировали раньше времени. Так я начал бранить молодых. По-моему, основная их ошибка в том, что они, затеяв свое творчество, надеются начать собственный театр с пятой цифры. Или даже с десятой.

— Что это значит?

— То, что балетный театр не чета даже драматическому. Он, как и человеческая жизнь, должен начинаться с младенчества. Неспособен ребенок одновременно встать на ноги и на коньки. Может, разве что в кинематографе Феллини! Но над его реальностью небесные законы бессильны. А над моей, над нашей — всемогущи. Только с нуля, только с первого шага, шапочка даже, только с уважением к чужому опыту можно подступаться к святым святым — балетному чуду! Впрочем, в какой области искусства по-другому?! В литературе, в живописи, в музыке? Не знаю, может, там быстрый взлет случается. В балете никогда.

— Но возьмем к примеру вашего собственного ученика Даниэля Лорье. Он ведь как раз, по-моему, за пять лет и достиг пика небывалого успеха. Достиг, простите меня, к вашему неудовольствию. И даже Патрик Дюпон, образец авангарда ненавистничества, признает за Даниэлем явное превосходство.

— Ну, во-первых, Патрик Дюпон признает лишь то, что Даниэль прыгает выше его, а я, знаете, вообще не считаю, что в балете высочайший прыжок — критерий большого таланта! Даже для танцора. Это удел чувствительных барышень, мадемуазель, простите: колкость за колкость. Вырвался блокурный юноша на сцену, подскочил под потолок, сделал в воздухе шпагат — барышни в обмороке!

— Ну не без этого!

— Вот и я про то же. Я поэтому с большой категоричностью отношусь к дамам в балетной критике. Слишком много эмоций. А что касается Лорье, так он достиг высоты и вправду, быстро, обладая чудовищной нечеловеческой трудоспособностью, доводя себя до истощения. Но он сначала постиг азы моей эстетики, моего театра. Он не изобретал своего велосипеда — он изучил учебник от корки до корки. И отправился его допол-

нять. Так что в феномене Лорье нет для меня ничего удивительного. Он не исключение из правил: он подтверждение моих мыслей. Хотел бы я знать, что он сейчас делал бы без моей школы? Прыгал бы, как козел?

— Тем не менее вы были недовольны тем, что он, будучи вашим танцором, солистом вашего театра, пытался ставить в этом театре нечто свое: иными словами, пытался творить!

— Он не пытался ставить! Он ставил. У меня под носом. Перебаламутил весь Париж и оскандалился на весь свет. И я его выгнал.

— Вам правда не нравилось то, что он делал?

— Мне не нравилось. Но если бы и нравилось, все равно бы выгнал, потому что считаю: в театре должен быть один режиссер. Остальные — артисты, исполнители, душа театра, без которой ничего никогда не получится. Но режиссер — только один! Еще я подумал про Даниэля: захочет выплыть — выплывет. И он выплыл! И я поехал за ним в эту глушь — в Нанси, где они с Дюпоном наперегонки скакали по сцене и плыли провинциальных барышень. И он начал работать в Париже. Сам. Один. Днями и ночами. Правда, последние три года он работает со мной бок о бок в Японии. Знаете почему?

— Почему же?

— А потому, что ему не хватает все еще опыта, школы, не хватает некой визы на пропуске в бессмертие, ради которой во многом и затевается настоящее искусство. И он вкалывает, чтобы ее получить. Ваш друг не такой идиот, дабы не понять, что только виза в бессмертие — повод для серьезного разговора.

— Для авангардиста вы не так уж и авангардны. Скорее консервативны.

— Просто я старый человек! Много чего знаю, много чего прошел. Многому назначил цену. А лет сорок назад я рассуждал, как какой-нибудь Даниэль Лорье. Да что, собственно говоря, за такая сложность поставить балет! Балет поставить и впрямь дело нехитрое. Один! Первый! А что дальше? Как это продолжить? Как научиться работать, все усложняя и усложняя технику и все упрощая ее восприятие зрителем?! Это рецепт, который знают старики!

— Следовательно, господин Бежар, вы находитесь в хорошей творческой форме?

— В воспитательной. По-моему, наконец настало мое лучшее время.

— Вы не боитесь, что со временем сможете прослыть старомодным?

— Вы знаете, лабиринты человеческого мозга непредсказуемы: всего можно ожидать. Но... Оттого, что в мире Григоровича называли устаревшим, мало что изменилось в балетах Григоровича. Они вечны, как альпийские луга на горных вершинах по весне. Может ли устареть альпийский луг?!

— Значит, вы горячо убеждены в том, что не надо молодым рваться в бой, а нужно потихоньку осваивать новые тропы. Однако, если вдруг предположить, что все они последуют вашему примеру, пространство мирового балета сузится. И вы вновь будете царить в нем, одинокий, непревзойденный! Без конкурентов!

— (Смеется.) Нет. Так уже не получится! Хотя, наверное, все-таки настоящего искусства не может быть очень много. Не должно от него рябить в глазах. И не стоит торопиться в этом деле, чтобы потом время не сыграло злую шутку: не пылало бы забвению, бесславному и пылало бы. Вот совет молодым, честный и, пожалуй, от всего сердца. Впрочем, есть в жизни балетмейстера опасные участки трассы: возраст за тридцать пять. Эйфория и романтизм постепенно сгорают, заполняя душу и сознание золой. И тогда приходят в голову мысли злые и опасные. Истериическое желание все бросить и уйти в лесничество. Или в маркетинг. На все это стоит наплевать, мимо этого стоит пройти, помня, что только следующее столетие — ваш истинный судья. А в этом, при жизни, во всяком случае, надо работать и работать.

Беседовала Натэла МЕСХИ.